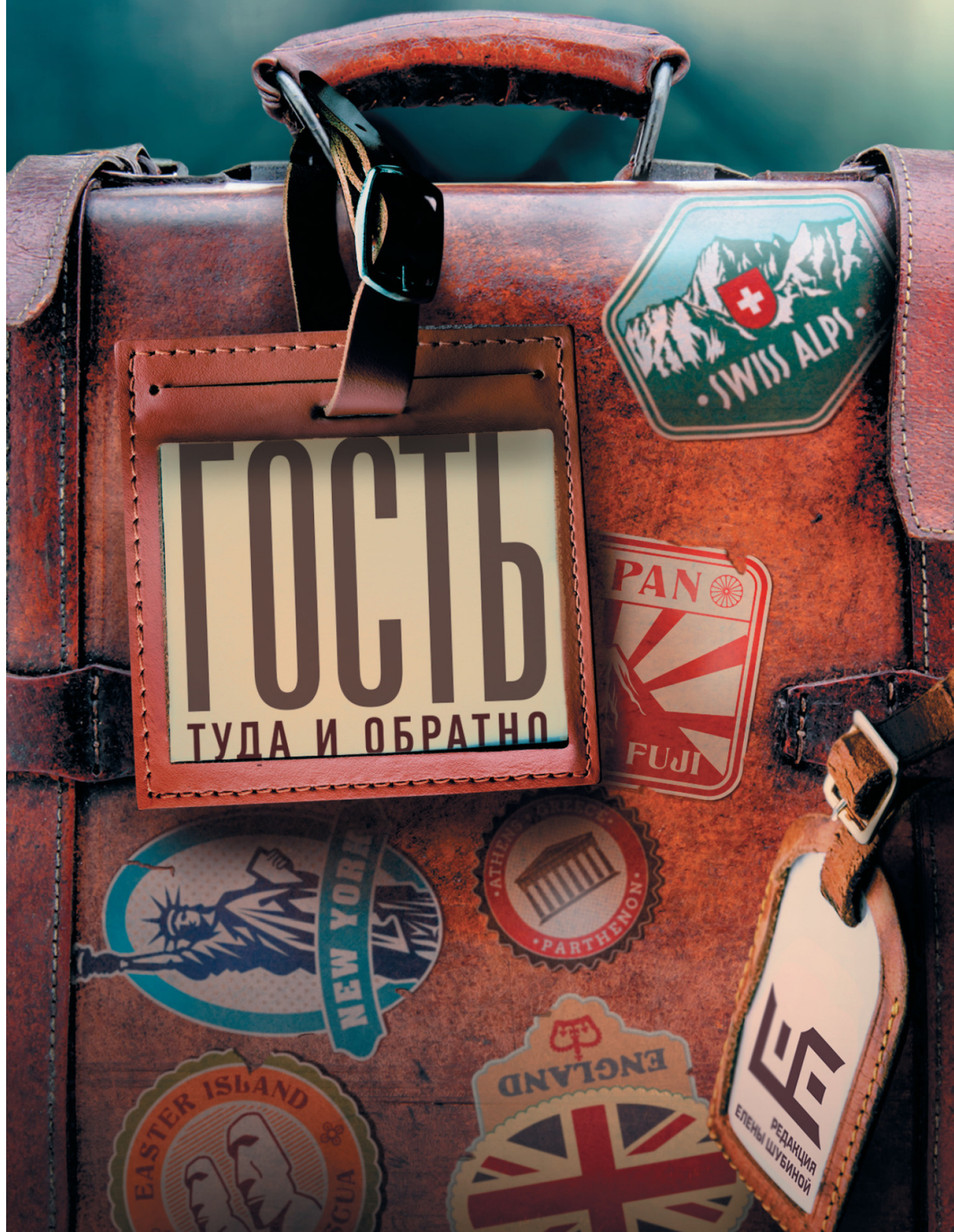


АЛЕКСАНДР ГЕНИС



Уроки чтения (АСТ)

Александр Генис
Гость. Туда и обратно

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1.09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Генис А. А.

Гость. Туда и обратно / А. А. Генис — «Издательство АСТ»,
2018 — (Уроки чтения (АСТ))

ISBN 978-5-17-110424-5

«Гость», составленный из лучшей путевой прозы Александра Гениса, продолжает библиотеку его эссеистики. Как и предыдущие тома этой серии («Камасутра книжника», «Обратный адрес», «Картинки с выставки»), сборник отличают достоинства, свойственные всем эссе Гениса: привкус непредсказуемости, прихотливости или, что то же самое, свободы. «В каждой части света я ищу то, чего мне не хватает. На Востоке – бога или то, что там его заменяет. В Японии – красоту, в Китае – мудрость, в Индии – слонов, в Израиле – всё сразу. Европа для меня как была, так и осталась геополитической мечтой, и я приезжаю туда, чтобы убедиться в том, что она настоящая, а не приснившаяся». Книга содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1.09
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-110424-5

© Генис А. А., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Ритуалы странствий	6
Туда	9
Письма из Централ-парка	10
Порнография недвижимости	10
Посольство «Битлз»	10
Люди и звери	11
Апофеоз бесцельности	13
Геометрия свободы	14
Тени в Нью-Йорке	15
Нью-йоркский календарь	19
Март	19
Апрель	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Александр Генис

Гость

Туда и обратно

Серия «Уроки чтения»

© Генис А. А., 2018.

© Бондаренко А. Л., художественное оформление, 2018.

© ООО «Издательство АСТ», 2018.

* * *

*Путешественник видит то, что видит;
турист видит то, на что он приехал посмотреть.*
Г. К. Честертон

Ритуалы странствий

Туризм – нефть XXI века, прибыльный, как она, и популярный, как футбол. Но овладевшая всеми тяга к странствиям не гарантирует успеха. Хорошо еще, что исчез модный в моей молодости культ романтического невежества, требовавший обходить известные места ради неизвестных, но с «запахом тайги». Сегодня радости физического перемещения сочетаются с духовными на хорошо протоптанных путях. Что, конечно, правильно: банальный маршрут – всегда верный, иначе он бы не был банальным. Но для того, чтобы отпуск стал путешествием, а турист – странником, нужно каждую поездку толковать как важную вежу и счастливую встречу. Да и как может быть по-другому, если, вырываясь из привычного ритма и быта, мы меняем всё вплоть до темперамента: заядлый флегматик превращается в восторженного холерика. Подыгрывая нам, даже отпускное время рвет с самим собой, то растягивая секунды, то транжиря дни.

Зная об этих волшебных превращениях, я с детства мечтал путешествовать и, выбравшись за границу, не видел смысла в том, чтобы останавливаться. 62 страны и 40 лет спустя я по-прежнему не могу утолить жгучую жажду к перемене мест.

Другое дело, что я научился экономно расходовать восторги (где тебе, саркастически заметила жена) и не торопить смену декораций (как бы не так, хмыкнула она же). Теперь я знаю – что бы ни говорила жена, – как неумная жадность к новому мешает им насладиться. Этому помогает записная книжка. В нее попадают мелочи. Случайные, как капля дождя или сорванная травинка, они служат мнемоническим устройством. Понятная одному мне зарубка на памяти, ведущая к тому чудесному мгновению, когда невиданный прежде пустяк врывается в сознание, вызывая в нем переполох и резонанс. А «Джоконду» я и так не забуду.

– Философия, – уверяли мудрецы, – искусство чувствовать себя всюду дома.

– Но мне-то, – возражу я, – хочется всюду вести себя как в гостях, в том числе и дома.

Статус гостя позволяет разевать рот, не задевая хозяев своим беспардонным (мой грех) любопытством. Гость – это вежливый чужой. Он воспринимает мир как подарок, не смотрит ему в зубы, ест что дают и счастлив всем, чем с ним делятся.

За десятилетия путешествий, начиная с похода к Белому морю на попутных грузовиках, я выработал подробный ритуал странствий. Следуя ему, я либо готовлюсь к поездке, либо нахожусь в ней, либо пишу о ней, вернувшись. И это значит, что рядом с одомашненной реальностью меня караулит альтернативная – дикая и заманчивая. Сперва эта самая еще не обжитая действительность показывается мне такой, какой она сама себе нравится.

Раньше, до того как привычка щелкать камерой выродилась в назойливый, словно семечки, тик, в каждом городе были фотоателье профессионалов. На их витринах вывешивали портреты тех, кем гордился мастер, заказчик, его близкие и соседи. Жених с коровьими от счастья глазами, строгий офицер в три четверти, тихий мальчик с книгой и прилизанная девочка с куклой. Публика на снимках составляла локальный идеал, и, попав в новый город, я находил фотостудию, чтобы было с чем сравнивать.

В сущности, такой же витриной каждой стране служит ее культура. В нее попадает этнический экстракт, разбавленный национальным мифом и процеженный сквозь сито веков: только лучшее, только вечное, только свое.

Поэтому задолго до путешествия я перевожу жизнь на другие рельсы и вешаю на стену карту очередной страны-избранницы. Месяцами я читаю лишь ее книги, смотрю ее фильмы, слушаю ее песни, зубрю ее королей, готовлю ее блюда и заглядываю в словарь, надеясь подхватить что-то полезное. Ну кто еще знает, что по-японски кальмар будет «ика», а на черногорском осьминог называется «хоботницей»?

Накапливая знания, я не останавливаюсь до тех пор, пока посторонняя страна не перестает мне такой казаться. Сроднившись с ее историей и искусством, включая, естественно, кулинарию, я приобретаю запасную площадку, но лакированную и вымышленную. Но чем усерднее я сливаюсь с новым адресом, тем проще меня отличить от местных, которые уже забыли всё, что я узнал. О выученном мне остается беседовать с экскурсоводами, но они меня недолюбливают, подозревая, что я приехал их проверять.

Тактика предварительного погружения приводит к парадоксу: переполненный сведениями о стране, ты в ней больше как будто и не нуждаешься. Хайдеггер, лучше всех трактовавший эллинов, до старости уклонялся от путешествия в Грецию. Гаспаров, всю жизнь писавший о древнем Риме, когда наконец попал на его руины, не хотел покидать отеля.

Выход из гносеологического тупика – люди. Не считая себя экспонатами, они и не догадываются, чем интересны страннику. Его в чужом обиходе занимают те заурядные детали, которых местные не замечают вовсе. Легче всего это проверить на себе. Попав за океан, я сразу купил путеводитель, но по России, а не по Америке. Отложив вторую на потом, я торопился узнать, чем мы дороги иностранцам.

– Лучше всего, – объявил авторитетный «Фодорс», – отправиться не в Кремль и Мавзолей, а на любой из русских вокзалов, чтобы подивиться открытым эмоциям славян, которые встречаются и прощаются шумно, со вкусом и азартом.

Убедившись в уникальности человеческого фактора, я всегда рад возможности залучить аборигена и допросить его с пристрастием. Я ищу не точные факты и здравые суждения, а сплетни и предрассудки. То, что не попадает в учебник и газету, проговаривается о главном: о вере и суеверии, составляющих подлинную основу национального характера. Под напором искреннего разговора общее разваливается на занимательные части. Недостатки у всех разные, и пороки красноречивее добродетелей. Теккерей считал, что увлекательным бывает лишь сатирический роман. И действительно: хвалить можно до третьей рюмки, а перечислять смешные гадости, особенно о близких, можно до утра. Вспомним, что городят питерцы о москвичах и москвичи о понаехавших.

Пользуясь этим методом, я узнал мириады глупостей, которыми с чужими делятся охотнее, чем со своими. Токийцы щедры, а киотцы жмоты. Шведы – соль Севера, и это отличает их от родных братьев: простодушных норвежцев, распутных датчан и варваров-исландцев. На немецком анекдоты рассказывают про тирольцев, на французском – о бельгийцах, на английском – про шотландцев, на американском – про поляков.

Обычно мои собеседники – слависты. Я заманиваю их разговорами о Достоевском или Сорокине, а потом, усыпив бдительность, перебираюсь к острому и заветному. Но иногда мне везет на более характерных персонажей. Таких, как овцевод из Квинсленда с его пастбищами размером с мою Латвию.

– Австралийцы, – сказал он, – путешествуют раз в жизни, но уж до отвращения.

А недавно я подружился с бедуинкой из Иордании. За обедом из чая с кардамоном и «перевернутого плова» она рассказала про 15 братьев и 8 сестер от четырех матерей.

– Многие, – вздохнула она, – друг друга и не знают.

Придумав себе ритуалы странствий, я строго следую им, надеясь открыть весь мир – страну за страной, столицу за столицей, море за морем. При этом в каждой части света я ищу то, чего мне не хватает. На Востоке – бога, или то, что там его заменяет. В Японии – красоту, в Китае – мудрость, в Индии – слонов, в Израиле – всё сразу.

Банк истории, Европа для меня как была, так и осталась геополитической мечтой, и я приезжаю туда, чтобы убедиться в том, что она настоящая, а не приснившаяся. Каждая поездка дробит маленький континент на еще меньшие части. Не Франция, а Бургундия; не Италия,

а Венето, не Германия, а Франкония – и в ней крошечный Ротенбург, в котором я бы хотел родиться и умереть.

Труднее всего открыть ту страну, где живешь, – слишком хорошо ее знаешь. В моем случае таких сразу две: СССР и США. Первую я понимал лучше как родину моего языка, но ее больше нет. Вторую я знаю меньше, потому что ее еще нет. Если СССР пал, как Древний Рим, то США, как тот же Рим, но ранний, – устремленный в будущее проект с непредсказуемыми, вроде Трампа, результатами.

Подводя итоги, конечно предварительные – ведь мне еще не довелось побывать в Антарктиде, – я хочу объяснить, что меня, собственно, гонит из дома: надежда вернуться не таким, каким уехал. Удавшееся путешествие напоминает классическую драму. В прологе герой думает, что всё знает. К третьему акту он обнаруживает не то, что искал, а к пятому возвращается умнее, чем был в начале пути. В этом движении – оправдание дороги, которая знает не два, а три направления: вглубь, туда и обратно.

Нью-Йорк. Май 2018

Туда

Письма из Централ-парка

Порнография недвижимости

Квадратный сантиметр жилья в Манхэттене, – задумчиво сказал мне Виталий Комар, – стоит больше, чем такая же площадь на моей картине.

Я хотел из вежливости возразить художнику, но не мог, ибо спорить не приходится. Бешеные цены только распаляют вожделение. Жители нашего города одержимы порнографией недвижимости. Взрослые, казалось бы, люди прилипают к витринам риелторских контор и горячо спорят о том, как расставят мебель в квартирах, где им никогда не жить.

– Сюда, – говорит она, рассматривая план просторного чулана без кухни, но в Аптауне, – влезет диванчик для мамы.

– Возможно, – соглашается он, – лучше бы ей отдельную комнату, причем в Буффало.

Сам я не мелочусь, ибо давно присмотрел 10-комнатную квартиру в старинном, помнящем обоих Рузвельтов доме возле музея Естественной истории, где старший из двух президентов изображен в штатском, но на коне.

– Три камина, – читает жена объявление вслух, – вид на Централ-парк и двусветная зала для танцев.

– И просторная, – подхватываю я, – слышишь, просторная библиотека.

– К тому же не так дорого, – приценивается жена, – 18 миллионов.

– Пятьсот лет откладывать, – прикинул я на глазок.

А что делать, если Манхэттен – остров, причем, если судить по ценам, сокровищ? Он расположен чудовищно неудобно. Как Венеция, но там хоть машины запрещены, а тут их – миллион, и все стоят в пробках. И все же во всей известной нам части Вселенной нет адреса желаннее.

– Будущее, – скажут вам, – здесь начинается раньше, прошлое никогда не исчезает, настоящее растягивается в гармошку, и за углом каждого сторожит чудо.

В общем, это правда, и я даже знаю, как оно, чудо, называется: Централ-парк. Ни в одном городе (если не считать самого зеленого – Вашингтона, который забыли достроить) нет такой огромной дыры в городском пейзаже. Аккуратный, вырезанный по линейке парк в 43 гектара растягивается на полсотни кварталов. Начинаясь у статуи меланхолического Колумба на 59-й улице, он тянется до входа в Гарлем на 110-й. Но пронизывая город, Центральный парк к нему не относится, ибо живет в согласии лишь с собственными эстетическими законами и философскими теориями.

Посольство «Битлз»

Первая достопримечательность, которую я узнал, перебравшись в Америку, не была статуей Свободы. Повернувшись к океану, она смотрит в лицо тем, кто ждал ее на палубе, а я прилетел на самолете. Эмпайр-стейт-билдинг я тоже не сразу признал, еще не умея отличать его фундаментальный силуэт от других небоскребов. Зато я сразу опознал доходный дом в хвастливом стиле купеческого барокко. Он стоял на краю Центрального парка и назывался «Дакота».

– В 1880-е, когда его построили, – говорят историки, – этот северо-западный угол города казался таким же удаленным от центра цивилизации в Даунтауне, как расположенная тоже на северо-западе неосвоенная территория Дакота.

Дело в том, что незадолго до отъезда я прочел роман «Меж двух времен». Его автор, Джек Финней, придумал лучшую машину времени во всей мировой фантастике.

– Стоит окружить себя вещами прошлого, – утверждал он, – как мы перенесемся в прежнее время.

В романе антикварный ход в XIX столетие вел через эту самую Дакоту. Роскошный осколок «позолоченного века», она и тогда, и сейчас является дворцом буржуазной роскоши. Метровой толщины стены, изысканная кладка серого кирпича, стройные башенки над окнами, благородная пatina бронзовой крыши. Отсюда герой книги, художник из современного Нью-Йорка, перебирается в прошлое, где чуть не выдает себя в одном примечательном эпизоде. Он рисует приглянувшуюся ему девушку. Однако никто не узнает в искусном портрете модель. И понятно – почему. Люди того времени, еще не выдавшие Пикассо и Матисса, не умели увидеть лицо, набросанное несколькими беглыми чертами.

Так или иначе, Дакота стала моим первым другом в Нью-Йорке, и я часто навещал ее в одинокие дни. Но никогда я не приезжал сюда так рано, как 9 декабря 1980 года. Как все помнят, накануне вечером у ворот Дакоты убили Джона Леннона, который жил там вместе с Йоко Оно. Утром у меня хватило ума прийти на 72-ю до рассвета, чтобы попрощаться с ним. Траур захлестнул окрестности и выплеснулся в парк. Никто никого не собирал, никто ни о чем не договаривался, но всех выгнали из дома любовь и горе. Тысячи свечей рассеивали утреннюю мглу. Многие плакали и не знали, что делать или сказать. Но потом один нашелся и запел. Толпа подхватила и не остановилась, пока не исполнила весь репертуар. Путая слова, перевирая мотив, но с нарастающим азартом я присоединился к хору, впервые почувствовав себя своим в Америке.

Прах Леннона рассыпали в Централ-парке, напротив его дома. Пять лет спустя это место стало мемориалом Strawberry Fields. В 2001 году я опять пришел сюда, чтобы проводить Джорджа Харрисона.

Как-то Пола Маккартни спросили, смогут ли вновь объединиться «Битлз».

– Нет, – ответил он, – пока Джон мертв.

Про Харрисона можно сказать то же самое. При жизни он держался в тени и считался «тихим битлом», после смерти стал, возможно, любимым. Самый «восточный» из четверки, он завещал растворить свой прах в Ганге. Его семья попросила отметить кончину медитацией. Для этого напротив Дакоты, на «Земляничных полях», окончательно ставших посольством «Битлз» в Центральном парке, вновь собрались поклонники. Прошло двадцать лет, но меньше их не стало. Выбывших заменила молодежь. И когда, после ритуального молчания, запели «Моя гитара плачет», все знали слова.

Люди и звери

Если начать прогулку с южного входа, то вскоре вы попадете на аллею памятников. Открывает ее щуплый Шекспир. За ним в один ряд стоят решительный Колумб, романтический Роберт Бернс, корпулентный Вальтер Скотт, бурный, как «Аппассионата», Бетховен. Парад гениев завершает древний мыслитель, задрапированный во что-то античное. Если бы не подпись, никто бы не узнал в нем изобретателя телеграфа Морзе. И опирается он не на колонну, а на телеграфный ключ. Есть в этом симпатичная, чисто нью-йоркская черта. Сразу видно, что в XIX веке телеграф казался не менее романтичным, чем вся шотландская поэзия. Нью-Йорку, пожалуй, больше подходит не грандиозное величие многометровой статуи Свободы, которая служит эпитафией ко всей Америке, а сдержанные, хоть и лирические эмоции по более скромному поводу, вроде открытия проволочной связи. Не зря же Нью-Йорк опозитивировал свой знаменитый Бруклинский мост. В каком еще городе про мост слагаются песни, стихи, даже оперы?

Чем дальше мы заходим в парк, тем глубже погружаемся в прошлое. На смену памятникам духа появляются валуны, оставленные ледниками. И тут же чуть ли не соперничающая с ними в возрасте самая древняя достопримечательность Нью-Йорка. Это – египетский обелиск Игла Клеопатры. За три с половиной тысячи лет он постарел меньше, чем за последние пятьдесят. Но теперь его очистили от городской копоти, и он стоит как новенький. Подходя к нему, я от нетерпения всегда прибавляю шаг, хоть и понимаю, что, прожив 35 столетий, обелиск меня подождет.

В Централ-парке всегда можно было встретить знаменитостей. Чаще всего – Жаклин Кеннеди, которая любила гулять и бегать вокруг водохранилища. Теперь эта кольцевая дорожка носит ее имя. Еще одной первой леди, бывшей жене бывшего президента Саркози, настолько понравился наш парк, что она обменяла на него Париж и мужа. Но больше всего Центральный парк ценил художник Бахчанян.

– Это мой Летний дворец, – говорил мне Вагрич, называя Зимним дворцом «Метрополитен». Живя рядом с обоими, он пользовался ими по назначению. Музей был складом прекрасного, парк – собранием друзей. Вагрич знал каждую тропинку наизусть, каждое дерево – в лицо, каждую тварь – на вид и вкус.

В искусстве Бахчанян предпочитал минимальный сдвиг, отделяющий пафос от пародии. Наиболее знаменитый пример – ленинская кепка. Надвинув ее вождю на глаза, художник превратил Ильича в урку. Тот же минимализм Вагрич исповедовал в рыбалке. Не признавая удочки, он всегда таскал в кармане леску с крючком и забрасывал снасть где придется, но всегда с успехом. Чаще всего в то самое искусственное озеро, которое обвивает тропа Жаклин Кеннеди и охраняет многометровая проволочная ограда. Когда-то этой водой поили город, теперь ею пользуются чайки, лягушки, рыбы и, пока не умер, Бахчанян. Ловко перебрасывая крючок через забор, он таскал белых окуней, разжиревших без рыбаков. А еще Вагрич собирал в парке грибы, летом – ягоды на варенье. Забираясь в заросли шекспировского холма, где высажены все упомянутые бардом растения, Бахчанян сочинял свои абсурдные и очень смешные тексты.

Как-то Бахчанян привел меня к пруду возле игрушечного замка Бельведер и поведал о случившейся здесь трагедии.

– Умники из дирекции парка, – рассказывал он, – решили украсить водоем золотыми рыбками. Нарядно и выгодно, решили они, потому что живут эти симпатичные твари до тридцати лет, один раз запустил и любуйся годами.

И действительно, рыбки с наслаждением плескались, навевая, как считают одомашнившие их китайцы, беззаботные думы. Старожилы радовались, туристы – тем более. Но еще больше милые рыбки понравились местным кусачим (это порода, а не темперамент) черепахам, которые к утру съели всех.

– В живых никого не осталось, – подытожил Вагрич, – как у того же Шекспира.

Судьба другой фауны складывается более счастливым образом. В Нью-Йорке живут 300 видов диких животных. В аэропорту Кеннеди полно зайцев. Совы выют гнезда на крышах. Часто в город забегают по делам койоты. Кое-где есть косули. Бывают лисы. В метро живут крысы, в канализации, как утверждает всем известная городская легенда, обитает аллигатор, в Централ-парке – все остальные, в том числе белые медведи. В старинном зверинце они живут в ледяном вольере. В летние будни, когда город плавится от жары, к ним во время ланча стекаются клерки в пропотевших пиджаках. Жуя бутерброды, они с завистью глядят, как счастливые мишки плавают в холодном бассейне с прозрачной стеной.

На воле звери живут тоже хорошо, даже слишком. Еноты, например, стали любимцами окрестных ресторанов. Официанты повадились их кормить роскошными обедами. Особенно понравились енотам спагетти *al dente*, приготовленные лучшими поварами города. Беда в том, что, безобразно растолстев, как и вся Америка, еноты не могут залезать на дерево, где им положено жить, и власти строго запретили развращать животных.

Другая драма развернулась в мире пернатых. Ее герой – редкий краснохвостый ястреб по кличке Пэйл-Мэйл, случайно залетевший в Центральный парк и нашедший здесь подругу Лолу. Пара поселилась на верхнем карнизе дома, смотрящего в парк. Квартиры тут стоят по много миллионов, но и с деньгами не всегда попасть. Никсона, скажем, не пустили, Барбару Стрейзанд – тоже. Домовой комитет решил, что знаменитости привлекут слишком много внимания. Птицы, однако, свили гнездо, никого не спрашивая. Вскоре соседи снизу возмутились, обнаружив, что птицы выбрасывают на их балконы остатки обеда – мех и кости съеденных белок. Гнездо сняли, но после громкого судебного процесса восстановили.

С тех пор птицы прославились не меньше Барбары Стрейзанд вместе с Никсоном. О них писали стихи, книги, песни и даже поставили фильм, который так и называется – «Пэйл-Мэйл». Как это обычно и бывает в Нью-Йорке со звездами, они привлекли внимание папарацци. Круглые сутки за гнездом вели наблюдение вооруженные фотопушками охотники за сплетнями. Каждая интимная деталь ястребиного обихода – от любви до птенцов – стала достоянием гласности. И когда Лола умерла, съев отравленную белку, весь город рыдал, пока Пэйл-Мэйл не нашел новую подругу.

Апофеоз бесцельности

Свой звездный час, растянувшийся на шестнадцать февральских дней, Центральный парк пережил в 2005 году, когда за него взялся Христо. Тот самый нью-йоркский художник болгарского происхождения, который заворачивал Рейхстаг, перекрывал занавесом горное ущелье и устанавливал зонты по обе стороны Тихого океана. На этот раз объектом его монументальной фантазии стал наш парк, вдоль дорожек которого 600 помощников художника установили семь с половиной тысяч ворот, украшенных оранжевым пластиком.

Нью-Йорк очень трудно удивить, но Христо это удалось. На читателей газет больше всего действуют цифры: 21 миллион долларов, пять тысяч тонн стали (по весу – одна треть Эйфелевой башни), сто тысяч квадратных метров оранжевого нейлона. Однако статистика скорее извращала впечатление, чем передавала его. Сам я в работе Христо не нашел ничего маниакального, скорее – тихий опыт эстетической утопии.

В эти снежные дни Централ-парк стал заповедником бесцельной красоты. Напоминающие японские тории оранжевые ворота превратили зимний, а значит, черно-белый пейзаж в цветное кино. Мягко следуя рельефу, взбираясь на пригорки и опускаясь в расселины, рукотворные достопримечательности не соревновались с природой, а остранили ее.

Я приходил в парк через день, потому что открытые всем стихиям «Ворота» Христо меняли жанр в зависимости от погоды. В штиль пятна оранжевой ткани врывались в ландшафт, как полотна Матисса. В солнечный день нейлон, словно витраж, ловил и преувеличивал свет. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Их ведь тоже нельзя ни пересказать словами, ни рассмотреть в репродукциях. Даже лучшие панорамные фотографии не передают впечатления. Это все равно что танцевать по переписке: теряется магия присутствия.

Хотя я гуляю по Централ-парку сорок лет, мне никогда не доводилось его видеть таким красивым. Чувствуя быстротечную значительность происходившего, ньюйоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было: толпа зевак превратилась в колонны паломников.

– Когда меня спрашивали, – признался Христо, – зачем все это нужно, я честно отвечал «низачем» и сравнивал свой проект с закатом, который еще никому не принес пользы.

Он, конечно, прав. Подлинное искусство тем и отличается от, скажем, политического, что не знает, зачем существует, и живет, как мы и природа: бесцельно, для себя.

Геометрия свободы

В Европе парк – итог экспансии и эволюции. Разрастаясь, город захватывал, как Париж – Булонский лес, окрестную природу либо насаждал ее. Но в Америке парки иногда всего лишь меняли названия. Переклеивая этикетки, лес превращали в парк. Так произошло в Бронксе, где обнесли оградой первозданную рощу и включили ее в ботанический сад.

Даже в Манхэттене, на самой северной окраине острова, есть густо заросший холм, который остался таким, каким был до того, как сюда пришли белые люди, включая меня. Прожив рядом пятнадцать лет, я наслаждался им, как дачник. Весной собирал ландыши, осенью – грибы, зимой жарил шашлыки (мясо на морозе!), на которые приходили полюбоваться зайцы и бездомные.

Но Централ-парк – другое дело. Он уникален по замыслу. Когда его придумали, Новый Свет был еще не только новым, но и неприрученным. На Диком Западе, начинавшемся, как до сих пор считают гордые жители Манхэттена, по ту сторону Гудзона, скакали мустанги, бродили бизоны, снимались скальпы и трудились ковбои. Первыми ньюйоркцы любовались в зоопарке, вторых ценили за копченые языки, третьи рассматривали в музеях, о четвертых читали в вестернах, которые были романами, пока не попали в кино.

В парниковых условиях тесного Манхэттена Центральный парк должен был стать Диким Западом для внутреннего употребления горожан. Он был искусственным, но настоящим заповедником девственной Америки. Как театр в театре, Централ-парк уттрировал природу. Заключенная в каменную коробку, она расцвела раем, пренебрегающим ценой и пользой. Не как Диснейленд с его карикатурной географией, не как национальные парки с их нетронутой красотой, не как романтические сады с их поэтическим произволом, а как макет Нового Света в натуральную величину. Строго вписанный в правильную фигуру парк демонстрирует свое умышленное происхождение. Зато попавшая внутрь природа живет на свободе. В расчерченном по линейке Манхэттане Централ-парк дарует живительную передышку от геометрии.

Это противоречие создает неповторимый характер Нью-Йорка. Он легко обходится без главной, такой как Красная в Москве или Тяньаньмэнь в Пекине, площади. В Нью-Йорке ею служит большая поляна Центрального парка.

Однажды я видел, как она вместила море людей. Волнами вытекая из метро, они рассаживались на траве в ожидании гуру. На встречу с далай-ламой пришла пестрая толпа, в которую мне и довелось затесаться. Там были хиппи – еще длинноволосые, но уже с лысиной. Панки с ухоженными ирокезами. Ненакрашенные девицы в венках из одуванчиков. Но были там и солидные адвокаты в галстуках. И строгие, похожие на учительниц, дамы. И веселые монахи-францисканцы с тонзурами. И бритоголовые буддисты. И ортодоксальные евреи с завитыми пейсами. Нас берегли верховые полицейские. Их любовно ухоженные кони позировали зевакам и сдержанно косились на сочную траву.

Добившись тишины, к микрофону вышел вождь голливудских буддистов Ричард Гир и представил старика в круглых очках.

Далай-лама улыбнулся и сказал несколько слов, которые могли бы показаться банальными всем, кроме собравшихся.

– Мы все едины, когда нам хорошо.

Наутро (я специально проверял) на месте сотысячного сборища не осталось ни одной грязной бумажки. Будто поляну встряхнули, словно скатерть.

Тени в Нью-Йорке

Когда отпрыск древнего французского рода Адельберт Шамиссо бежал в 1796 году от ужасов революции в Германию, ему было всего 15 лет. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шамиссо не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку – «Необычные приключения Петера Шлемиля». Эта маленькая книжка обессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя.

Фамилия Шлемиль происходит от еврейского слова, означающего размазню, простака, неудачника, умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиссо, продавший дьяволу свою тень за кошелёк неразменных червонцев. Очень скоро Шлемиль обнаружил, что в нашем мире «тень уважают еще больше, чем золото». Сперва он пытался выкручиваться:

– Прошлой зимой, – объяснял Петер, – когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать.

Другим он рассказывал иначе:

– Какой-то олух так неудачно наступил на мою тень, что продырявил ее насквозь. Пришлось отдать ее в починку.

Увертки, однако, не помогали: ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили Шлемилю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Отчаявшись найти свое место под Солнцем, он менял адреса, как перчатки, собирая по пути коллекцию растений.

– Я начал новую жизнь не связанного службой ученого. Я бродил по земле, то измеряя ее высоты, температуру воды и воздуха, то наблюдая животных, то исследуя растения, я спешил от экватора к полюсу, из одной части света в другую, сравнивая добытые опытом сведения.

Шлемиль с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит – глубины. Нарушение естественного баланса чревато смертным светом безжизненности.

Именно на этой – теневой – диалектике построен роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Это не проповедь торжествующего добра, а манифест вечного порядка, гарантом которого служит равновесие между утверждением и отрицанием, между светом и тьмой:

– Что бы делало добро, если бы не существовало зло, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?

Не было у тени лучшего защитника, чем Воланд, что и неудивительно, если вспомнить о его профессии.

Хотя тень бывает только у тела, ее часто считают душой, точнее – ее изнанкой. Юнг, например, взваливая на тень тайные порывы, темные страсти и смутные вожделения, называл ее «внутренним» дикарем. Обычные «дикари» с этим не спорили.

В архаических культурах к тени относились с большим уважением, чем к себе, и следили за ней, как кот за хвостом. В тени видели сверхъестественное продолжение человеческого естества. Джеймс Фрезер в своей эпохальной монографии «Золотая ветвь», этой библии первобытной культуры, пишет, что индейцы запрещали под страхом смерти наступать на чужую тень – особенно если она принадлежала теще. Тени окружают человека, как свита – короля. Стоит ее, свиту, отнять, и он зачахнет в одиночестве, как Лир, отрекшийся от престола. Фрезер пишет:

– Дикарь часто видит свою душу в тени или в отражении, которые с необходимостью становятся для него источником опасности. Ведь если тень растоптали, ударили или укололи,

наносится ущерб личности ее владельца, а если тень отделили от него вовсе, в возможность чего он твердо верит, человек умирает. Есть колдуны, которые могут сделать человека больным, пронзив его тень копьем или разрубив ее мечом.

Не зря дикари отказывались фотографироваться. Тиражируя свой облик, справедливо считали они, человек теряет врожденную уникальность, постепенно становясь тем, что постмодернизм назвал симулякром: копией без оригинала. Предусмотрительно оберегая себя от этой участи, король Сиам вплоть до XX века запрещал чеканить свое лицо на монетах. Это табу Фрезер объясняет следующим образом:

– Когда с лица снимается копия и уносится от владельца, вместе со снимком уходит часть его жизни. Поэтому суверен едва ли мог допустить, чтобы его жизнь вместе с монетами распылалась по его владениям.

На Балканах вплоть до совсем недавнего прошлого старались заманить случайного прохожего на строительную площадку, чтобы установить краеугольный камень в его тени. Через сорок дней после этого человек умирал, зато дом стоял веками. Незаменимый Фрезер пишет:

– В Трансильвании существовали торговцы тенями, чье ремесло заключалось в поставке архитекторам теней, необходимых для придания прочности стенам. В таких случаях снятая с тени мерка рассматривалась как эквивалент самой тени, и зарыть ее значило зарыть жизнь или душу человека, который, лишившись ее, должен умереть.

В своей сказке Шамиссо нигде прямо не объясняет, что он понимает под тенью, но его читателям легко догадаться: речь идет об утраченной отчизне. У них и правда немало общего.

Потерять тень трудно, как родину: мы к ней так привязаны, что она не отвязывается, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отстает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам Родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, но никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота, акцент – молчание, горбатого исправит могила.

Отношения с тенью строятся на невольности – она следует за нами, повторяя наши жесты. Со стороны кажется, что мы подчинили ее себе, но, в сущности, мы умеем управлять ею не больше, чем собой. Мы, конечно, можем заставить тень плясать под свою дудку, но, как и нас, вырастить ее способно лишь время. Когда солнце клонится к западу, тени растут сами собой – молчаливо и неостановимо, как седина.

На этом сходство кончается. Старая вместе с нами, тень – в отличие от нас – каждый полдень рождается заново. Синхронность наших движений создает иллюзию симметрии. Тень копирует жесты, но она вовсе не похожа на нас. В ней нет глубины и смысла, которые мы приписываем себе. Признавая только свет и его отсутствие, тень, как шахматы, не отличает оттенков. Оставляя нас без подробностей, она рисует характерный, как в шарже, профиль. Тень – двумерное изображение личности. Ей свойственна бездумная и пугающая простота контурной карты. Фальшивый двойник, она – не столько копия, сколько схема, прототип, эмбрион, чертеж, первый набросок человека. Говорят, что так родилось искусство: первый художник очертил мелом свой силуэт.

В Нью-Йорке так делают до сих пор, но лишь с покойниками и только полиция.

Нью-Йорк всплыл не случайно. Дело в том, что, оставшись без тени, Шлемиль пытался ее найти в самых дальних уголках земного шара, для чего автор подарил ему семимильные сапоги. Сперва тень казалась Шлемиллю бесполезней аппендикса, но, лишившись ее, он понял, что тень

служит корнями, которые можно пустить и в чужую почву. Петер (как и его совершивший кругосветное путешествие автор) тщетно рыскал по всей планете:

– Я прошел Азию с востока на запад, догоняя солнце, и вступил в Африку. Я с любопытством огляделся в ней, несколько раз измерив ее во всех направлениях. У Геркулесовых столбов я перешагнул в Европу и, бегло осмотрев ее южные и северные провинции, через Северную Азию и полярные льды попал в Гренландию и Америку, пробежал по обеим частям этого материка, и зима, уже воцарившаяся на юге, быстро погнала меня с мыса Горн на север.

К сожалению, в своих бесконечных странствиях Петер Шлемиль так и не сумел добраться до Нью-Йорка. И зря, ибо нет на земле места, где легче жить без тени или вырастить себе новую.

Любимый приют изгнанников, Нью-Йорк – город иноземцев, может быть, инопланетян. Как искусственный спутник Земли, он стоит в стороне от нее. Возникший без претензии на историческое величие, Нью-Йорк рос естественным путем. В нем нет никакой умышленной идеи, более того – у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка лишь в его всеядности. Он сворачивает вокруг себя пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи, он не принадлежит ни одной культуре, ни одной истории, ни одной расе. Нью-Йорк – совокупность всего, сумма человеческой природы, включающей и все теневое, темное, низкое, злое в ней. В нейтральности и ничейности Нью-Йорка – его безмерная притягательность. Здесь нет общего знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого и не требует от человека, даря ему высшую свободу – безразличие.

Прилепившись к самому краю Америки, Нью-Йорк служит транзитом между тем светом и этим. Неудивительно, что тени чувствуют себя здесь так привольно: это – их страна. Но виновата в этом не зловеще потусторонняя география, а безалаберная городская архитектура. Нью-Йорк – это оправленный в цемент случай. Все главное в этом городе уместилось на узком острове. Вынужденный ютиться там, где его основали напуганные индейцами голландцы, Нью-Йорк превратил равнинный ландшафт в альпийский.

Гряда небоскребов громоздится вдоль горизонта в восхитительном беспорядке: пьянящий произвол провидения исключает трезвую градостроительную логику. Лишенный ее рельеф тут не подражает природе, а является ею. Здешняя архитектура растет, как бамбук в джунглях. Не только так же быстро, но и так же непараллельно. Ни одно здание не учитывает соседа. Дома то кучкуются где попало, то наползают друг на друга, то жмутся к земле, то пронзают небо. Единственный закон, которому подчиняется дикая градостроительная поросль, продиктован страхом остаться в тени. Дональд Трамп, самый амбициозный из всех строителей, мечтающих расписаться на Манхэттене, уже двадцать лет пытается водрузить 200-этажный дом и вернуть городу давно украденную у него славу столицы небоскребов. Осуществлению этого проекта мешает его тень, угрожающая покрыть собой лучшую часть острова. Раньше Нью-Йорк так не церемонился, из-за чего и вырос бесстыдно тесным. Этот город можно осмотреть либо сверху, либо со стороны. Оставив вершины посторонним, своих он поселил в ущелья.

Издали Нью-Йорк – как пачка «Памира», внутри он – ловушка для теней.

Тень – живая часть города. Он будто дышит ею. Благодаря теням неспособная к движению архитектура растет и опадает, как грудь олимпийца – размеренно, покойно. В замедленной съемке суток тень послушно следует распорядку дня. Подчиняясь часам и солнцу, она венчает архитектуру с астрономией.

Когда Нью-Йорк не может отбросить тени, он отражается в одном из тех водоемов, что делают его архипелагом. Ведь Новый Амстердам, как и старый, весь прочерчен замысловатой водяной сетью, которая умело ловит его отражения то в грязных каналах порта, то в морском языке Ист-Ривер, то в гордом Гудзоне, то в отмеченном статуей Свободы заливе, куда стекаются нью-йоркские воды, чтобы соединиться с атлантической волной.

Тени и отражения умножают Нью-Йорк и путают его гостей – но не обитателей.

Нью-Йорк – город платоников. Привыкшие жить в густом вареве миражей, они легче расстаются с иллюзиями, которые другие считают окружающим. На каждый дом в рецепте Нью-Йорка приходится столько бестелесных спутников, что привкус реальности делается почти неразличимым. Волоча за собой шлейф неощутимых эманаций, этот город ведет зыбкое, но бесспорное существование, о котором можно сказать то же, что Шопенгауэр писал о природе сновидения: нельзя утверждать, что сон есть, тем более – что его нет.

Сны и тени, говорил другой знаток вопроса, Евгений Шварц, состоят в двоюродном родстве:

– Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам.

Самое странное в сновидении – не что в нем происходит, а с кем. Во сне субъект лишается центра самоидентификации. Это значит, что мы перестаем быть только собой. Сквозь истонченное дремой «Я» просвечивают чужие лица и посторонние обстоятельства. Осчастливленные ветреностью, мы бездумно сливаемся и делимся, как амебы. При этом во сне мы перестаем считаться со всеми грамматическими категориями, включая одушевленность, – как на картинах Дали, где вещи совокупляются без смысла и порядка: швейная машинка с зонтиком.

Тени и отражения делают видимыми сны города. Идя по нью-йоркской улице вдоль домов, сплошь покрытых зеркальным панцирем, мы попадаем в волшебный мир непрерывных метаморфоз. Как во сне, сквозь стену тут пролетает птица, тень облака служит шторой небоскребу, в который бесшумно и бесстрашно врзается огромный «боинг». В этой скабрёзной игре света и тьмы и нам достается соблазнительная возможность – слить свои тела со стеклом и бетоном Нью-Йорка. Для этого нужно смешать наши тени и отразиться вместе со всей улицей в зеркальной шкуре встречного небоскреба. Свальный грех урбанизма порождает сказочное существо – «людоград». Одушевленное сочетается в нем с неодушевленным как раз в той пропорции, которую предусматривает смутная органика теней и отражений, выталкивающая нас в другое – магическое – измерение.

Однажды на закате я показывал приезжему писателю вид, открывающийся с одной из двух 110-этажных башен Мирового торгового центра. Я хвастался панорамой, но зачарованный писатель с завистью смотрел вниз. Там, на площади, у фонтана копошился турист, жалкий и невзрачный, как все мы, когда на нас смотрят свысока. С крыши он казался не выше муравья, зато какая у него была тень! Смуглая, как Отелло, она занимала полнебоскреба. Раскинувшись на трехсотметровой стене, тень величаво жестикулировала, ведя немой диалог с облаками. Возможно, это была тень Петера Шлемиля, искавшая себе нового хозяина.

Нью-йоркский календарь

Март

Когда в городе живешь треть века, он перестает быть городом и становится домом. Среди прочего это значит, что ты можешь передвигаться по нему с завязанными глазами, не натыкаясь на мебель. Чтобы обновить знакомство и набить шишки, надо поменять обстановку. С Нью-Йорком я так поступить не могу – он и без меня справляется, меняясь, как цветы весной, не по дням, а по часам. Чтобы остранить город и заново полюбить его, я раз в месяц, стремясь вписаться в его календарь и ощутить все нюансы в смене сезонов, объезжаю Нью-Йорк на велосипеде.

Истоки этого ритуала следует искать у греков, которые регулярно обегали полис, магически укрепляя его границы и свое с ним единство. Поскольку на марафон меня не хватает, я обхожусь двухколесным приключением, которое освежает ощущение города и открывает его с диковинной стороны.

Велосипед, свято верю я, третий путь познания. Это если не считать метро, экзистенциального транспорта, позволяющего заглянуть разве что в себя или в декольте соседки. Путешествуя пешком или в машине, вы остаетесь в толпе себе подобных. Но велосипед – дело другое.

В этом городе мне довелось жить дольше, чем в любом другом. Я видел его днем и ночью, зимой и летом, трезвым и пьяным, молодым и не очень. Но с седла Нью-Йорк выглядел иначе, и мне показалось, что у нас начался второй медовый месяц. Первый, как это обычно и бывает, испортила неопытность. Сперва я не принял его старомодную нелепость, не оценил наивных пожарных бочек на крыше, не полюбил хвастливую, уместную только в Новом Свете эклектику. Чтобы полюбить Нью-Йорк таким как есть, ушло полжизни. Теперь он мне нравится еще больше. С велосипеда город выглядит таинственным, словно в хорошем, как у Кесльёвского, кино, где реальность плывет в психоделическом направлении.

Осматривая город верхом, мы подключаем к зрелищу два новых фактора: высоту и ритм. Один подразумевает прихоть, другая поднимает над толпой, позволяя глядеть поверх машин и голов. С велосипеда и впрямь дальше видно. Еще важнее, что, сев в седло, меняешься сам. Водитель зависит от машины: ее нужно кормить и нельзя, как маленькую, оставлять без присмотра. Пеший идет в толпе. Но всадник – аристократ дороги. Крутить педали – почти всегда одинокое занятие, даже по телефону говорить трудно. Предоставленный самому себе, велосипедист, как мушкетер, меньше зависит от навязанных другим правил – включая дорожные. В городе два колеса дороже четырех, ибо велосипед ужом обходит пробку. Понятно, почему в тесной Европе на велосипед молятся, видя в нем панацею от удушья.

Сегодня велосипед повсюду берет реванш над машиной, вытесняя ее на обочину пригорода. Это происходит во всех больших (не говоря уже о маленьких) городах, кроме, пожалуй, Москвы. Только здесь я замечал саркастические взгляды, которыми провожали настойчивых иностранцев, таскавших велосипеды взад-вперед по бесконечным подземным переходам русской столицы. Чувствовалось, что тут велосипед – легкое, вроде шляпы, чудачество, не приспособленное, как мне объяснили, к отрицательной изотерме января. Другие страны, впрочем, доказали, что велосипед – универсальное средство транспорта, подходящее для всякого климата. В Дании колеса обувают в зимние шины, в Голландии носят непромокаемые чехлы, в Финляндии строят туннели под снегом. Америка – особый случай: она велосипед открыла.

В Европе велосипед долго считался либо игрушкой, либо курьезом – особенно когда в седло взбирался Лев Толстой (за что я люблю графа еще больше). Только в Новом Свете велосипед встал, так сказать, на ноги. С него началась вторая индустриальная революция. Между

паром и компьютером оказался велосипед. Первый собранный из взаимозаменяемых частей механизм открыл конвейер, превративший роскошь в необходимость. Не случайно первые самолет и машина родились в велосипедных мастерских, где начинали и братья Райт, и Генри Форд.

Радикально улучшив американские дороги, велосипед уступил их автомобилю, чтобы вернуться в ореоле экологической славы. Сегодня он вновь царит в городе, о чем говорит расписание двухколесных мероприятий. Среди прочего в Нью-Йорке проходит велосипедный конкурс красоты, рыцарский турнир на колесах, велосипедный парад, вело-кино-ретроспектива, гонки по переулкам, прыжки в длину с разгона и фестиваль велосипедной порнографии, что бы это ни значило. В сущности, сегодня велосипед – скорее культ, чем средство передвижения. Поэтому раз в год тысячи жителей Нью-Йорка вводят своих любимцев за шею под высокие своды кафедрального собора, где свершается торжественный обряд благословения велосипедов.

Переправившись через Гудзон на пароме, я покрепче устроился в седле и отправился на Таймс-сквер. Сперва, уворачиваясь от непомерных автобусов, я пугливо жался к тротуару – как деревенская лошадь. Городские знают себе цену и никому не уступают дороги. Взяв с них пример, я быстро освоился и занял свой ряд, деля его с четырехколесным транспортом. До 7-й авеню мы ехали вместе, но на Бродвее я вкатил один.

Когда мэр Блумберг окончательно понял, что у малорослого еврея-миллиардера, напоминающего скорее героя Вуди Аллена, чем президента, нет шансов попасть в Белый дом, он решил войти в историю избавителем Нью-Йорка от машин.

Это было бы и впрямь великим делом, ибо ездить по Нью-Йорку на автомобиле так же нелепо, как по Венеции. В сущности, это тоже архипелаг, связанный бесчисленными мостами и туннелями. И у каждого – дикая пробка. Хуже всего Манхэттену. Этот остров просто слишком мал для миллиона машин, которым полиция портит здесь жизнь как может и хочет. Но они все равно ползут по мостовой, медленно, слепо и неудержимо, как ледник или лемминги.

Обещав с этим покончить, мэр, который сам передвигается по городу под землей, решил показать нью-йоркцам, как можно жить без машин. Для эксперимента власти выбрали ту часть Бродвея, что, разрезая Таймс-сквер, уходит к морю, увлекая за собой 47 миллионов туристов, ежегодно навещающих Нью-Йорк.

Площадь без машин – форум ротозеев. Прохожие, не боясь, что их собьют, задирали голову к небу, густо завешанному рекламой. Там, наверху, красивые и знаменитые жили уже в раю, но мне было неплохо и внизу, среди своих. Новичков выдавали двойные рессоры на титановой раме. Опытных выделял помятый корпус с двойным замком. Профессионалы щеголяли яркой цепью – такую и за ночь не перепилишь.

Заняв свое место на празднике двухколесной жизни, я колесил вдоль и поперек Бродвея, наслаждаясь неслыханной свободой передвижения. Когда сам не торопишься и тебя не торопят, жизнь доверчиво открывается причудливой стороной буквально на каждом углу. На одном прохожих с большим успехом развлекал аккордеонист. Лицо, если оно у него было, целиком скрывал шлем. Я не понял, кого он изображал, и на всякий случай бросил в тарелку доллар. На другом углу старый китаец играл на старинной скрипке-пипе.

– Любимая песня Конфуция, – блеснул я, спешившись из уважения.

– Знаю, – ответил китаец по-русски. И, заметив мое изумление, объяснил: – В Москве учился. Правда, не этому.

Вздохнув, он заиграл в мою честь «Русское поле». Ему я тоже оставил доллар, но переехал через дорогу к скверу. За свежими, только что поставленными столиками сидели довольные новым порядком ньюйоркцы. Слева уставился в компьютер яппи с сигарой. Справа устроился бездомный в холщовой робе. Порывшись в мусорном баке, он достал мятую «Wall Street

Journal», но, прежде чем открыть страницу с котировками биржи, перекрестился из предосторожности. За спиной, на 42-й стрит, которую давно уже отбил у порока более целомудренный досуг, туристов заманивал музей восковых фигур. С витрины гостям махали Рейган, Горбачев и Бритни Спирс, но приезжие, игнорируя звезд, снимали полицейскую лошадь. Привыкнув к вниманию, она глядела в камеру не моргая, отставив для изящества заднюю ногу.

Прямо посередине Таймс-сквер, на самой что ни есть проезжей части, в садовом беспорядке стояли дешевые шезлонги. Их занимала школа акварелистов на этюдах. Художники старательно перерисовывали пейзаж, состоящий из цветной и ненужной информации. Выше других реклам забрался Бенджамин Франклин со столотларовой купюры.

– Я еще вернусь! – объявлял он городу и миру.

Здесь, в сердце мамоны, ему нельзя было не поверить.

Апрель

Убедившись, что весна наступила, я отправился в путь, но остановился, не успев отчалить, ибо прямо за порогом буйствовала магнолия. В Риге такие не росли, и я до сих пор не могу к ним привыкнуть. Пока я стоял под деревом, из дома вышла маленькая, словно дюймовочка, хозяйка и смела шваброй опавшие цветы в бледно-розовую кучу мусора. «Сцена из Олеши», – подумал я и нажал на педали.

Весна в Нью-Йорке такая мимолетная, что между внезапным снегом и неизбежной жарой цветет все сразу. Проще всего это заметить в ботаническом саду – либо в Бронксе, либо в Бруклине.

Первый намного больше, так как он включает изрядную часть первозданного леса, который попечители оградили и запретили трогать. В сезон я там собираю грибы, но только белые и когда никто не видит. Другая достопримечательность – столетняя оранжерея, ажурная, как викторианская невеста. Зимой, в буран или слякоть, там хорошо глотнуть из фляжки, спрятавшись за кактусом, но сейчас в саду не протолкнуться от орхидей и их поклонников. Те и другие представляют самые экзотические образцы флоры и фауны. Одни изобретательны, как «Аватар», другие, одержимые, на них молятся. Плотноядным орхидеям приносят в жертву мух, остальные фотографируют, словно манекенщиц на подиуме.

На другом конце города, в сердце огромного, но тесного, как грудная клетка, Бруклина, весну отмечают сакурой. Первые декоративные вишни привезли из Японии в Нью-Йорк и Вашингтон еще век назад. Американские города, расположенные на той же широте, что Киото и Токио, идеально подходят сакуре, составляющей вместе с суши и мангой триаду японской эстетики в Нью-Йорке. Дерево, которое плодов не дает, пахнуть не умеет, цветет мгновение и вызывает восторг, требует к себе трепетного отношения и правильного настроения, за которым я езжу в Бруклин.

В здешнем ботаническом саду цветут самые старые сакуры. Знатоки ценят их дряхлые, узловатые стволы за то, что в них скопился вековой запас жизненной энергии *ци*. Остальные наслаждаются контрастом: мимолетность бледного цветка, рядом с которым черная плоть коренастого дерева кажется притчей или гравюрой.

В апреле в Бруклин съезжаются японцы всех пяти боро Нью-Йорка – чтобы снимать невест, детей и бабушек в фамильных одеждах. Как сакура, эти драгоценные одеяния ждут целый год того весеннего дня, когда их вытаскивают из нафталина и прогуливают под ветками.

Другой контингент – бруклинские хасиды, плотно населяющие окрестности сада. Они одеты не менее роскошно и тоже экстравагантно: атласные лапсердаки и малахаи из лисьего меха, которые стоят состояния и выписываются из Брюсселя. Черно-белые евреи и пестрые японцы прекрасно гармонируют с рощами цветущих вишен еще и потому, что с разных сторон пришли к одному и тому же. Во всяком случае, так считал крупнейший авторитет в этом

вопросе немецкий философ Мартин Бубер. Собрав фольклор хасидов, он с удивлением обнаружил их сходство с дзенскими анекдотами и объявил о типологической близости двух религиозных практик. В Бруклине они не мешают друг другу – ведь, как сказал знатный буддист Ричард Гир, «под цветущими вишнями нет посторонних».

Мне пришлось в этом убедиться в Киото, где цветение сакуры – национальная оргия, во время которой целые трудовые коллективы пытаются перепить друг друга. Я до сих пор не могу понять, как затесался в конкурс, но помню, что треснулся затылком, лихо опрокидывая лишнюю чашу саке. Сидя на коленях этого делать не рекомендуется. Помня урок, я трезво полюбовался цветами за чаем и вновь пересек Восточную реку, чтобы отметить весну там, где в ней знают толк, – в Японском доме, самом, пожалуй, изысканном музее Ист-Сайда.

В апреле здесь царит японская версия ар-деко, выставка, которую можно считать уроком модернизации. Усвоить его мне интересно вдвойне – как жителю Запада и выходцу с Востока. Между двумя мировыми войнами Япония ринулась догонять Америку, которую она, как и большинство наших соотечественников, представляла себе в основном по Голливуду. В витрине висели привычно элегантные кимоно, но вместо хризантем и Фудзиямы на шелках были вытканы звезды немого кино и герои самурайских фильмов. Это все равно как ходить в сарафанах с портретом Брэда Питта и косоворотках с профилем Никиты Михалкова.

Привычка носить самое дорогое на себе сказалась на всех деталях непростого японского костюма. Так, широкие пояса-оби изображали высшие достижения тогдашней цивилизации: немецкие дирижабли и нью-йоркские небоскребы, а также сюжеты Берлинской олимпиады. Западный спорт, столь непохожий на сумо, захватил тогда Японию, как нынешнюю Россию – гольф. Отсюда статуэтки футболистов – американских и настоящих. Однако на изображающих атлетов медалях стоит 2597 год – считая от основания Японии.

Страна, одержимая национальной идеей, искала компромисс между космополитическим стилем и народной традицией, причудливо перемешивая их в быту и в обороне. О последней свидетельствует милитаристский мотив – журавли, которые упоминались в названиях всех японских авианосцев. О первом можно судить по популярной марке сигарет «Сияние», пачки которых украшало восходящее над молодой империей солнце. Его лучи пронизывали весь патристический обиход – будь то бронзовая ваза с цветами или плакат, рекламирующий железную дорогу.

Как это всегда и бывает, державной идеологии противостояли конкурирующие ценности – секс и мода. Гвоздь выставки – японка с рекламных плакатов. Смешливая, с короткой стрижкой и дерзким взглядом, она напомнила мне рабфаковку в кимоно. Впрочем, тогда его носили с туфлями на шпильках. Уровень эклектики такой же, как текила с рассольником.

Когда прогресс зашел еще дальше, реклама представляла японских див на лыжах, под парусом или за барной стойкой. Сменив кимоно на платья, они демонстрировали особый изыск уже чисто западного наряда: застежку-молнию (в старой Японии и пуговиц-то не было). Другой чертой, которая, по мнению анонимного художника, делала женщину современной и желанной, была сигарета: на плакатах они все курят. Сейчас это кажется диким, но я еще помню, как мой отец покупал матери длинные болгарские сигареты «Фемина» с золотым ободком – намек на роскошную жизнь недоступного и желанного Запада. У японцев он назывался «Фурорида» и помещался, как легко догадаться, во Флориде. Судя по рекламе, в этом краю жили одинокие красавицы, всегда сидевшие за коктейлем в кабаре и обмахивавшиеся веером – уступка цензуре – с восходящим солнцем.

Для других, настоящих японок существовал более реальный, но тоже нелепый мир домашнего уюта, который изрядно портила западная мода. В японском доме, где тогда еще спали на татами и пользовались бумажными ширмами, появилась западная гостиная с европейской мебелью и непременно пианино. Толку от этого было мало, потому что сидеть ни

на стульях, ни за роялем никто не умел, но мучения и расходы окупал престиж, а с ним не поспоришь.

Интересно, что теперь ситуация развернулась. Японцы живут в обычных домах, но для почетных гостей, в чем я однажды сам убедился, держат устланную циновками комнату, где мне пришлось делить одиночество с сямисэном и веткой сакуры. Я бы предпочел кровать.

На этой неблагодарной мысли я покинул выставку и вырулил к дому, но остановился напротив здания ООН. Там всегда оживленно: экскурсанты, дипломаты, военные и – на ступенях Сахарова – демонстранты. На этот раз из Китая. Худенькая старушка держала фотографию родного угла, захваченного рейдерами Шанхая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.